

ЛЕВ АННИНСКИЙ

КРАСНОТАЛ... ЧЕРНОТАЛ...

*Уж не сам ли Иоанн Предтеча
В валенках по улице идёт?*

Андрей Шацков

В поколении послевоенных мальчиков, которым довелось надеть красные галстуки и тотчас попасть в лавину анекдотов о героях революции, а потом дышать воздухом неверных оттепелей и мучительно искать своё место в позднесоветской реальности, готовясь сбежать хоть в сторожа и дворники от конвульсий накренившейся Системы, – в этом поколении Андрей Шацков чуть не единственный сразу и прочно нащупал путь.

Родившийся в последний год сталинской эпохи, выросший в перепаханном войной Подмосковье, он расслышал магическую музыку в самом имени своей малой Родины, в административном имени района:

– Рузский.

И музыке не изменил.

Интересно, что у истоков этого причащения русскости стоял такой деликатный, мягко-ироничный, лишённый всякого национального самоупоения лирик, как Валентин Берестов, однако именно он, прочтя в 1971 году первые стихи 19-летнего студента, утвердил его не просто в поэтической уверенности, но в базисном ощущении почвы, которая под ногами. Даже если она замечена снегом.

Под снегом кровь. Кровь предков. Меж красноталом и черноталом вьётся неторная тропа. Века русской истории вопиют из чащоб.

Поле, которое надо перейти, чтобы ощутить цену жизни, обретает имя. “Жизнь прожить – перейти Куликово поле”.

Конечно, к этой рати не сводится отечественная история. И Калка тоже помянута (впрочем, вскользь) в упрёк Блоку, что тот, “провидя Непрядву, не ведал о Калке”. Но “колченогая тень Тамерлана” – тут как тут. И золотоордынскому хану Ахмату, бежавшему от Ивана III с Угры, тоже сказано в спину всё, что полагается про “иго”. И Гришке Распутину, а с ним Тушинскому вору разъяснено, что им бы с Русью вовек не управиться. И хазарам, а также волжским булгарам указано место. “В лесах, кишаших чудью, вепсью, мерью”, – место, отвоеванное у матери-истории святыми благоверными русскими воинами.

И всё-таки оглушительным эхом пронзает всю эту жуть Куликовская битва. Гениальный стратег Дмитрий Боброк подаёт нам весть из своей легендарной засады. “Двести дубовых колод, наполненных мёдом, сохраняющим тела

наиболее знатных погибших ратоборцев, направлены в скорбный обратный путь в Московию” – хочется оплакать каждого. Навек врезана Непрядва в память Руси. От неё отсчёт – на Запад и на Восток. От Запада и от Востока упор.

*И лежит за великими поймами
Рек, смывающих прошлого груз,
Гулевая, святая, пропойная,
Неуёмная — вечная Русь!..*

Русью начато, Русью и завершится Вселенское колесо Андрея Шацкого. Но разберёмся сначала с Западом и Востоком.

На Западе, конечно, враги, но какие-то привычно терпимые. Ливонцы, литовцы. Надменные потомки тевтонов. Не столько к нам лезут, сколько нас до себя не допускают. А нам туда очень хочется? Не очень. Разве что порыбачить. Да на этот счёт у нас есть свой Сенеж.

“Не в Темзе ж рыбачить, не в Сене ж”, – снимает Шацков с проблемы философское грузило. Но оно свинцовой тяжестью обнаруживает себя в следующем рассуждении:

“Мы веруем во “Единого Бога”, а не “Бога и сына”, как латины, и наш Символ веры освящает истинную соборность, а не иерархическую лестницу католических чиновников, главный из которых Папа Римский. И в этой суровой борьбе двух миров икона – окно в мир Горний – являет собой более прямой путь к истинному Богу, нежели многочисленные схоластические изыскания”.

Это серьёзно. И в ответ на серьёзный тезис возникает у меня серьёзный вопрос: эта истинная соборность нам, русским, от природы дана или занесена хитроумными потомками Одиссея? Она есть Дар Божий или результат собственных многовековых усилий Руси, пластающейся между изгойством, диктуемым с Запада, и напором, прущим с Востока?

И тут обнаруживается, что в напоре с Востока много кровавой ярости, но мало внятного смысла. Какая-то неизбывная тошнотворная агрессия. Что-то вековечно “поганое”. И из каждой ситуации “хитро смотрит свирепый хан”. “Вислоусый и плосколицый”. Из-под ладони наблюдающий наше зарево. “Повелитель орд”. Ну, ладно бы только окаянный Мамай, явившийся к нам на Куликово поле, – от него мы отбились кровью лучших ратников, – так ведь висит узкоглазая физиономия надо всеми веками русской истории. Маячит “кочевник жестокий и хитрый”. Если с Запада – гниль, то с Востока – гибель. “Азиатская злобная конница табунится степной саранчой”. “Тугие луки” нацелены в “лебединое сердце”. Ещё опаснее у изворотливых степных разбойников “лисья хитрость” (каковую заимствовал у них наш гениальный стратег Боброк). А ещё опаснее этой татарской хитрости – монгольская *бесстрастная* орда, безлико и беспощадно нависающая над Русью.

Я хочу всё-таки влезть в этот зловецкий фронт со своими “схоластическими изысканиями”.

Монголы и татары – это одно и то же? Монгол сидит в белой юрте и отдаёт приказы, а на приступ идёт татарин, как правило, подневольный, у которого и имени-то внятного (для русских) нет, а есть кличка по тарабарскому говору: “тар-тар-тар...”. А кого захватила своей лавиной прущая с Востока орда – это ещё надо разбираться. Может, там и несчастные половцы, ради которых мы претерпели позор Калки. И уж нынешние татары никак не несут ответа за Орду, разве что чисто ономастически. Уж скорее калмыки, ногайцы, а более всего – казахи, тёзки наши по общей “волюшке”, отброшенные когда-то на Восток с Волги (нами же отброшенные), а теперь строящие вместе с нами общий Евразийский мир.

Я хочу напомнить, что “татарская тема”, составляющая у Шацкого стержень его лирики, падает не просто на Куликово поле, а на минное поле общей памяти, где перемешаны кости врагов и родичей и где всякая легенда может пронзить с неожиданной стороны.

Каково нынешним татарам читать про свирепых убийц, творящих все беды Руси под фатально совпавшим именем?

И как вмещает эту блуждающую боль такой пристальный поэт, как Андрей Шацков?

А ведь вмещает. Как? Повешу этот нелёгкий вопрос в качестве неотступного (до конца статьи) и попробую подойти к нему не с привычной прописью

о “дружбе народов” (в советские времена эта “пропись” удерживала нашу память от неразборчивой мстительности; из крупных поэтов 60-х годов один только Владимир Фирсов решался на прямую битву с Ордой, — за что и удостоился теперь от Шацкого почтительного посвящения), — меня сейчас интересует другое: лирическая ойкумена самого Андрея Шацкого, твёрдо вставшего на вековой русский путь и даже торящего в наших зарослях и заносах дорожку для Иоанна Предтечи, обутого, по нашему климату, в валенки.

Климат же поэзии определяет (у крупных поэтов) не актуальность того или иного “высказывания”, вовремя выданного в печать, а вся музыка стиха, воздействующего на читателя неотступно и всеобъемлюще.

Андрей Шацкий такую музыку создаёт. Тяжестью ритмов, пластикой рифм, дыханием цветописи, цепкостью словесного узорочья — от Аза до Ижицы, когда Аз начинает походить на ворота с верейей, а Ижица — на галку, взлетевшую над воротами.

Что бросается в глаза при чтении шацкого стиха — это тяжело ворожающиеся ударения. С упрямым обозначением акцентов. Вот так:

“Мне вновь приснилась птица — журавЕль. Или журАвль?..”

Или так:

“И всё сбылОсь.. и сбЫлось, как должнО!”

И даже так:

“Весь век с нелюбимою проЖит. А значит — впустую прожИт!”

Мешает ли это восприятию? Нет, как ни странно, не мешает. Потому что сверхзадача стиха — не четкий рисунок меняющейся реальности, а её загустевающие мазки, и тяжкий синтаксис, с переносами и повторами, куда лучше передаёт невпоровотное бытие, чем это мог бы передать летящий штрих.

Рифмы то устало проседают в прилизительность, то внезапно сцепляются в виртуозность. Когда Шацкий рифмует “версту” и “жду”, у меня закрадывается подозрение в элементарном профессиональном “недотяге”, но когда рядом братаются “другие песни” и “брёхи песьи”, или “юркой мыслью — недосягаемой мыслью” обдаёт меня запах дерева, по которому издревле растекается эта нерасторжимая пара, — у меня возникает ощущение не “недотяга”, а скорее “перетяга”. Ритмика и рифмовка, узлами перетягивающая снопы строк, напрягаются от напора реальности, грозящей сорваться с привычных мест.

И так же напряжена словесная ткань, вмещающаяся в ряды вроде бы понятные, но заново неведомые. Просинец понятен, когда рядом стоят межень и снежень, протальник и снегогон, хмурень и листодёр, но за бучилом и корзном иной читатель уже полезет в словарь, а такое чудо, как харлуг, и у Дадля, и у Фасмера не вдруг найдёшь. Меж тем, в стихе всё это тяжело и твёрдо работает. Контекстуально и затекстово. По нраву и образу лирического героя. По характеру его. По характеру жизни, которую он любит.

*Любимая, в твоих родных глазах
Я вновь обрёл всё то, что знал дотопле:
Широкое нетоптанное поле,
Кресты церквушек, стены в образах.
И сенокос, что в росах, как в слезах,
И ветер, что свистит о славной доле.*

И следом:

*Любимая, я в облике твоём
Увидел то, что скрыла сказок синька:
Осенний лес, вдали твоя косынка.
И чистым полем в неба окоём
Несётся витязь, сросшийся с конём.
Не забывай его, моя осинка.*

“Осинка” эта, вроде бы выпадающая из крестьянски-пропаханного, былинно-просеченного строя ассоциаций, где осина прочно отдана предателю для сведения счётов с жизнью, — деревце это, пересаженное на ниву любви, пронзает стих трепетом, на мгновенье преодолевающим фатальную тяжесть реальности.

Любовь – короткое счастье и долгая грусть, она налетает внезапно и ранит надолго. Шальной грех сменяется угрюмым покаянием, пьянящий поцелуй кажется прощальным и последним, верность сердца всё время испытывается круговертью испытаний, на которые обрекает тебя история. А другой нет.

Круговерть эта отчасти приручена Шацковым в его “Славянском календаре”. Поэтический ежегодник на все двенадцать месяцев расписан по православным праздникам. “От Сретенья до Благовещенья, от Благовещенья до Вербного”. Ритм “Рождеств и Крещений”. Спасы без пропуска: “Спас Медовый, Нагорный, Ореховый...” Настольная книга верующего. Но не только. Ещё – сращение церковных канонов с “чисто народными обычаями” (что для меня, потомственного нераскаянного атеиста, особенно важно). И ещё мне важно – как читателю, вживающемуся в проповедуемый Шацковым “русский путь”, – вопрос о цене этой круглогодичной благодати. Горькая цена неизбывна. *Скорбь в Троицу. Победа над смертью в Пасху. “Черёмуховые холода” в мае – “загадочная и жестокая причуда природы”,* когда зима вдруг возвращается посреди весны. А на летнего Андрея? Опять горечь: “Я никого не отогрею”.

Понятно, что в ледяную стынь душа отогревается ожиданием тепла. Но в теплынь – неотступна мысль о холодах. Где начало и где конец этой круговерти? Нигде. Сквозь конец брезжит начало, начало предвещает конец. Приходит Богородица – чтобы оборонить от вечного лиха. Синева небес и близна снегов ожидают удара фиолетовой мглы. Вера, Надежда и Любовь живут в памяти народа, тая давний ужас.

Это как бы православный женский праздник, более значимый, чем 8 марта. В народе он называется “Всесветный бабий праздник” или “Всесветная бабья выть”. Каким бы житем ни было, а уж полагаюсь бабе поголосить с утра о себе, чтобы потом со светлой душой за хозяйство приняться, утворяя мир и спокойствие в доме.

Спокойствием в доме не пахнет. Куда уйти от круговорота скорби? От этого фатального стога?

*В никуда... В фате из снежной ряби
С глаз долой, из сновидений — прочь!
Что ж ещё?.. Низки и мрачны хляби,
Непроглядна стынувшая ночь!
И дожить пытаюсь до рассвета
В изголовье комкая плечо,
Я благодарю тебя и лето.
И тебя и лето... Что ж ещё?*

Что ж ещё?

Ещё – понять связь этой мрачной хляби, из этой рябющей замети – с ощущением Истории, где чередуются рассветы и закаты, и “бабья выть” сопровождает “гром победы”, раздающийся по красным дням.

Тут самое время вспомнить, что Андрей Шацков, окончив школу, не только не прервал работу на благо советской жизни (как было той жизнью запрограммировано), но сделал ещё и блестящую карьеру (институт – стройка – комсомол – райком – обком – министерство), прежде чем бесповоротно встать на “русский путь”, оставив за спиной марксизм-ленинизм и прочие фундаментальные заветы своей юности.

Какой ещё современный поэт может похвастаться такой загадочной биографией?

А никакой загадки тут нет. Русскую историю Андрей Шацков воспринимает не “кусками” и “этапами”, а целостно – как единую реальность, данную нам судьбой. С единой почвой под ногами – во все сезоны. С единым небом над головой – при любой погоде. С единой и неделимой драмой, проходящей через все акты.

Как?! И Перестройку, увенчавшуюся распадом великого государства, не заметил?

Заметил. Хотя и не заиклился, как многие борцы против “тоталитаризма”. Одно только стихотворение об этом переломе времён допустил в своё “Избранное”.

Тем интереснее в него вчитаться.

*На небе воронов до чёрта.
Юдоль деревьев — без листвы...
Стою, как Иоанн Четвертый
Средь обезумевшей Москвы.*

*Где с неизбывной жаждой воли,
Вот-вот запляшут от души:
То ль пугачёвское дреколье,
То ль декабристов палаши.*

К палашам и дреколью что-то должно прибавиться... Из арсенала Куликова поля... А вот и оно:

*Несётся гул окрестных звонниц.
Всё громче меди голося...
Но сколько азиатских конниц
Таят окрестные леса!?*

*Ещё цены не знает вече
За дерзость неразумных слов...
Лишь призрак плах в Замоскворечье
Грозит остудой для голов!*

Вот и заземлим теперь это “начало 90-х” на русскую историю. На её легендарных бунтарей.

С Пугачёвым у Шацкого отношения сложные. Вернее, простые — до элементарного отрицания. Пугачёв — “потрох собачий”. Предводитель “сброда”, шатающегося по просёлкам Руси. Самозванец! Век не видать ему Оренбурга! Век не взять “престольного града”!

Да и как ещё относиться к Пугачёву, от ударов которого качнулся державный престол, — тот самый престол, в основание которого столько сил положили во времена оны наши славные князья! Одна только отрада для русского сердца — что от Пугачёва “попрятались прусские хари”, кои Шацков поимённо перечисляет: “Кар и Меллин, и Рейнсдорп, и Муфель, и вдобавок ещё Михельсон...”.

Михельсона я бы из списка убрал: он не немец, он эстонец (говорю это в интонации знаменитой характеристики Барклай де Толли из фильма “Кутузов”: “Он не немец, он шотландец”; добавлю, что Суворов по бабке армянин, Боброк по отцу литовец, да и Кутузова надо бы проверить на предмет происхождения: не из татар ли).

Но оставим этнопросвечивание на закуску: в пугачёвском сюжете оно Шацкого не очень-то интересует. А интересует его — инструментарий. Исконный набор самозванца:

“Кнут орлёный, да дыба, да плаха, да проклятье, да ката топор!”

Что ж ещё?.. Всё тут.

Ну, с Пугачёвым немного разобрались. С Разиным дело действительно сложнее: тут сердце поэта не выдерживает, и он начинает свой “Плач по Стеньке” зачином: “Россия, я дышу тобой!” — от имени то ли своего, то ли Стенькина, а точнее — сливаясь с ним в ненависти к катам, ладящим плаху, к попу, который, анафемствуя, дрожит, да и к самому государю, “обрызгший облик” которого определён жалок рядом с героическим обликом казака, который хоть и пропал, но погулял на славу.

Так что же привязывает его душу к душе бунтаря?

Да всё то же, что соединяет вместе все колена непредсказуемой русской истории: плаха.

Теперь понятно, почему “призрак плах” в Замоскворечье венчает у Шацкого “Воспоминание о начале 90-х”? И какой ценой даётся истории России единство, если вбирать в эту историю всё, что там окровавилось, ничего не оставляя неуловимым врагам, вредителям, предателям, заговорщикам, самозванцам и прочим “собачьим потрохам”, грозящим Руси со всех сторон...

Стоп. Мы чуть не забыли ордынскую нечисть, повешенную нами для памяти на погребальный крест при исходе Куликовской битвы. Недаром же “азиатские конницы” таятся в окрестных лесах вокруг Москвы, “обезумевшей” в 1991 году! Не исчезают узкоглазые из шацковской поэтической летописи. Так и мерцают “разбойничьи очи” – и непременно раскосые. В “Задонщине” отмечено “врага скуластое лицо”. С Цимлянского дна давно затопленный Саркел – хазарская столица – “взглядом грозит раскосым”. От Вологды до Аляски простирает персты Богородица над “шалльной империей”, и на восточном краю её “в Троицком соборе... на якутском молится якут”...

Эта азиатская напасть кажется сплошным фронтом... если не вглядываться и не вслушиваться.

Если же вслушаться и всмотреться?

Якут – узкоглазый или нет? – крутится у меня на языке просветлённо-провокационный вопрос.

Да! – отвечает Шацков просветлённо-проницательно. И добавляет со знанием дела:

“И прекрасен древней Богоматери узких глаз таинственный прищур!”

Но и это ещё не самое пронзительное признание по части узкоглазости.

Самое пронзительное вот что:

*И достались мне в двадцатом веке
Отголоском позадавних дней
Башня легендарной Сююмбеки
Да коран прабабушки моей.*

Ах, вот оно что... Анна Горенко когда-то сняла проблему, примерив на пальчик колечко своей прабабушки. Коран там, наверное, тоже имелся.

Но ответ, ответ? Есть он у Шацкова?

*И один ответ на все вопросы —
Тот, что заучился наизусть,
Отчего в глазах своих раскосых
Я навек укрыл степную грусть!*

Всё! Снимаю шляпу. Настоящая поэзия делает то, что только она и может сделать, – историческую немыслимость вбирает внутрь души. Портрет Руси завершается – той самой неуёмной Руси, гулевой и грешной, которая тонет в реках, смывающих “прошлое груз”. Надо только принять этот груз в душу. Надо только окольцевать себя памятью. Надо взлететь:

*...Над русской землёю, как ворот распахнутой,
От скал, где бушует волна океанная,
До степи полынной, нагайкой распаханной,
Где Разина песня звучит окаянная!*

Ну, правильно: если не окаянная, значит, не наша.

*В кисее фиолетовой сутемы,
На исходе ненастного дня
Перед ликом Вселенского Судии
Строг молитвенный сполох огня.*

От ненастья не уйти. Фиолетовая сутема сторожит нашу голубоглазую наивность. И от огня не уйти. Надо только прищуриться, чуть сузить глаза, чтобы огонь не опалил.

*И лежит за Великими поймами
Рек, смывающих прошлого груз,
Гулевая, святая, пропойная,
Неуёмная — вечная Русь!*

И лежит, и бежит, и летит, и вязнет, и выкарабкивается, и гуляет, и отбивается... И валенки приберегает на случай прихода Иоанна Предтечи. И Господа поминает на всякий случай. И зорко следит, какие стрелы выбрасывают нависающие со всех сторон заросли: чернотал... краснотал?..